



**Н. В. УСТРЯЛОВ**

## **Духовные предпосылки революции**

### **1**

Мало-помалу приближается время духовного осознания русской мыслью великого кризиса нашей истории. Все чаще и чаще русская революция становится предметом серьезного исследования, углубленных дум. Разбитая и разгромленная в ней русская интеллигенция стремится постичь ее природу, уяснить корни своего поражения. Как это всегда бывает, мысль, отброшенная с пути непосредственного действия и активной работы, уходит в сферу общих основ, размышлений и принципов, проясняющих сознание и обогащающих национальную культуру. Может показаться, что русская интеллигенция как бы вновь возвращается к своей традиционной роли. К мысли она привычней, чем к действию. Но в то же время великое революционное действие, живой, хотя и страшный, опыт пережитых лет, оплодотворяя мысль, сулит ей действенность, способствует творческому перерождению самого организма русской интеллигенции, тесно приобщившейся к государству российскому, в эти четыре бурных года привившей себе терпкие соки государственности. Ее думы уже становятся существенно иными и по характеру, и по содержанию.

Мы говорим об интеллигенции, разумея под нею то ее большинство, которое ныне идеологически противопоставляет себя официальной доктрине русской революции на современной ступени ее развития. Но было бы правильнее сказать, что *сама русская революция есть прежде всего борьба русской интеллигенции с самою собой*. И большевизм, и его политические противники — одинаково порождены историей нашей общественной мысли. И тот, и другие черпают свои кадры из рядов русской интеллигенции, являясь как бы ее Белым и Голубым Нилом. По двум большим руслам протекает процесс духовного самоопределения русского

«культурного слоя», и оба эти русла, каждое по своему, глубоко извилисты, многомотивны, неровны. Оттого и потоки, по ним бегущие, так напоминают собой водопады.

## 2

В большевизме исконный радикализм русской интеллигенции причудливо сплетается сначала с характерным бунтарством, а потом — с исконной «пассивностью» русского народа. Пусть первые дни «свободы», казалось, хотели засвидетельствовать собою, что интеллигенция преодолела свой радикализм, а народ — как бессмысленное бунтарство свое, так и свою вековую пассивность: министры переворота твердили о патриотизме и государственности, а облеченный в солдатские шинели и рабочие куртки «народ» отказался от «родного долготерпенья», проявив волю к какому-то сознательному, организованному «действию». Но это была только мгновенная видимость. На самом деле крушение русского «государства» могло лишь с наглядною очевидностью обнаружить основные качества обоих элементов русской «земли» — «народа» и «общественности». Предоставленные сами себе, лишённые опеки, уже в процессе «свободного кипения» должны были эти элементы изжить свои «опасные для жизни» свойства, и вновь создать — изнутри, из себя — великую броню государственности, взамен обветшавшей и распавшейся в прах. Такая задача естественно не могла быть осуществлена легко и безболезненно. Она решается в муках. Не решена она еще и доселе, поскольку длится еще состояние революции.

Петербургский абсолютизм, убитый мировой войной, оставил после себя не взрослого наследника, а лишь беременную вдову в лице Государственной Думы. Под шум крушения вековых связей она родила недоношенное дитя — Временное правительство, — облик которого как две капли воды напоминал собою думское большинство (оппозиционный «блок»), а колыбелью которого стала русская вольница, лишённая узды и получившая возможность до конца проявить свою природу. Оно зажило — это неудачное дитя — жизнью взбудораженной страны, с каждым месяцем все беспомощней отдаваясь стихии, пока стихия его не поглотила без остатка...

В этом сказалась историческая закономерность. Чуждая непосредственным стремлениям народных масс и бессильная ими руководить, безвластная мартовская власть во всех своих вариациях оказалась вместе с тем чужда и подлинной логике революционной идеи, выношенной поколениями русской интеллигенции. Боль-

шевизм не только сумел вовремя учесть стремления масс, — он пришел безоговорочно исполнить и заветы истории русской интеллигенции.

Ростки своеобразного «большевизма» проявлялись на протяжении всей этой истории — от Радищева и особенно от Белинского до наших дней. Фанатическое, *религиозное* преклонение перед материальной культурой и материальным прогрессом подготовило активно материалистический культ октябрьской революции, а систематически воспитываемое недружелюбие к началам нации и государственности («враждебный государству дух») привело к безгосударственному космополитизму идеологии интернационала. История русской интеллигенции, развивавшаяся, как известно, в условиях исключительно неблагоприятных, представлявшая собою, по выражению Герцена, «или мартиролог, или регистратор», — не способствовала воспитанию уравновешенных и трезвых характеров. Вместе с тем длительная невозможность практической деятельности в сфере государственно-политической воспитала в широких интеллигентских кругах одностороннюю «теоретичность», безграничную влюбленность в крайние утопии, в отвлеченные «идеалы». Ведь известно, что прекраснодушие и максимализм — верные спутники бездействия и конспирации.

Если к правде святой  
Мир дороги найти не сумеет, —  
Честь безумцу, который навеет  
Человечеству сон золотой!..<sup>1</sup>

Жили, как в сне золотом... Жили миражами, тем более прекрасными, чем безотраднее представлялась окружающая действительность. И не хотели в этой действительности видеть и крупиц добра. И не хотели ее совершенствовать, — мечтали ее сокрушить. И тогда... «жизнь станет такой прекрасной»... Все новое, радикально новое, — «новый мир». На меньшем не мирились.

Пусть велики, гениальны, «всечеловечны» были многие представители нашей интеллигенции, — в общем, в массе своей она была изуродована, искалечена до мозга костей. Да и гении ее отражали нередко своеобразный склад ее духовных устремлений, по-своему интересный и привлекательный, но мало обещавший русской государственности, русской державе *как таковой*. И это очень знаменательно, что та часть нашего культурного слоя, которая приобщалась вплотную русскому *государству* (линия Сперанский–Столыпин) даже и не считается у нас, как известно, принадлежащей к «интеллигенции». И немало труда потратили

всевозможные Ивановы-Разумники, чтобы этот взгляд превратить в «научную истину»...

Первая революция конкретно обнаружила опасность. Под покровом дряхлеющей власти шевельнулся хаос, мелькнул смутный облик бездны. И уже тогда, после первых революционных опытов, наиболее чуткие из тех, кто были властителями дум своего поколения русской интеллигенции, стали осознавать тупик, к которому она пришла. Уже тогда ее авангард суровой критике подверг ее прошлое, решительно осудил ее традиционный путь, ее «большую дорогу», сжег многое, чему поклонялся, поклонился многому, что сжигал. Конечно, тут прежде всего надлежит сослаться на знаменитые и пророческие «Вежи», появившиеся в 1907-м году<sup>2</sup>.

Но то был лишь авангард. Его осмеяли, его, разумеется, заподозрили в «реакционности», его немедленно отлучили от интеллигентской церкви, а вся армия, вся масса интеллигентская осталась при прежних своих верованиях, столь красочно разоблаченных одиозным сборником.

Поверхностный, банальный и устаревший позитивизм в качестве основы «общего мирозерцания», наивная религия прогресса в духе Конта и Фейербаха, кичащаяся маркой квалифицированной «научности», некритический утилитаризм в этике («человек произошел от обезьяны, а потому люби ближнего своего») и, как социально-политическое завершение, непременно — социализм, коммунизм в роли рая на земле... И в этот комплекс ограниченных, сумбурных идей вкладывали великий идеализм упований, жертвенные порывы веры и любви.

Поколениями воспитанные в ненависти к власти, мы приучились отождествлять правительство с государством и родиной. Все духовные ценности — религию, мораль, искусство — мы привыкли расценивать по их внешним «проекциям», по их «общественно-политическим» выводам. Нет ничего удивительного, что от такой расценки мы перестали воспринимать и ценить все действительно ценное, все, что не поддается плоскостному измерению. Само собою разумеется, что понятие «национального лица», как ускользавшее от такого измерения, было объявлено «мистической выдумкой», а принцип национальной культуры провозглашен «реакционным» и «шовинистическим». Самый термин «национализм» стал у нас бранным словом. За роскошью факта великодержавия притуплялся в стране великодержавный инстинкт. «Мы жили так долго под щитом крепчайшей государственности, что мы перестали чувствовать и эту государственность, и нашу ответственность за нее» (П. Струве, «Размышления о русской революции»<sup>3</sup>). В конце концов мы превращались в каких-то Иванов-непомнящих, людей

без отечества, оторвавшихся от родной почвы. «Высокие идеалы», нас питавшие, придавали лишь отвлеченную моральную высоту нашим настроениям и поступкам, но не способствовали их действительной плодотворности и не животворили их творческим духом. Государственность при таких условиях постепенно превращалась в оболочку, лишенную жизненных корней и связей. Государственность вырождалась, превращаясь в омертвевшую шелуху.

Лишь подлинно великое потрясение могло бы излечить русскую интеллигенцию от ее тяжелой болезни. И вот пробил час этого великого потрясения.

### 3

Империя, когда-то вздернувшая Россию на дыбы, а затем пропустившая время умело «ослабить поводья», — рухнула. Начальство ушло, и у государственного руля в трагичнейшую минуту нашей национальной истории внезапно очутилась сама русская интеллигенция — со всеми ее навыками, со всеми ее идеями, со всем ее прошлым.

Я никогда не забуду одного московского впечатления тех весенних, мартовских дней, первых дней свободы. — Оживленная, радостно гудящая улица. Среди бесконечных грузовиков с солдатами, весело приветствовавшихся толпой, вдруг появились два или три силуэта, вызвавшие повсюду особенный восторг, усиленные приветствия, исключительно бурный энтузиазм. Умиленный, прерывающийся шепот слышался повсюду по мере их приближения: «Это из тюрьмы, освобожденные узники, еще 905 года, и раньше...» И пели марсельезу — тогда еще «Интернационал» не приехал — и самозабвенно кричали «ура»...

Автомобили поравнялись со мною, и я увидел этих людей. Каким-то странным и в то же время уместным, волнующим контрастом выделялись они на фоне всеобщего торжества и весеннего опьянения. Бледные, исхудавшие, «прозрачные» лица, большинство еще в арестантских халатах, глаза блестящие, словно ослепленные неожиданным светом, устремленные поверх толпы, поверх действительности, куда-то вдаль, в пространство, и даже за грани пространства —

За пределы предельного,  
В область светлой Безбрежности<sup>4</sup>!

«Исступленные», — как их гениально определил в свое время Достоевский...



Из тюрьмы, из мрака многолетнего заключения, они сразу устремлялись на вершины политической власти. Из Бутырок при радостных криках толпы они проехали прямо в Кремль.

## 4

История вручила им судьбу России. С каторги, из недр сибирских захолустий, из душных эмигрантских кофеен Парижа и Женевы, с восточных кварталов Нью-Йорка — отовсюду потянулись к русским столицам любимые сыны русской интеллигенции, ее герои и мученики, в борьбе обретшие наконец право свое. И лозунги подполья превратились в программу власти.

Правда, в течение первых недель февральско-мартовского переворота эти лозунги подпольных людей еще выдержали краткую борьбу с теми группами русской общественности, которых опыт первой революции и Великой войны уже успел несколько отклонить от ортодоксального символа интеллигентской веры. Но и здесь, как в эпизоде с «Вехами», победила традиция, — да и сами новаторы, впрочем, оказались весьма сговорчивыми, нетвердыми в своем «ревизионизме»: недаром же непротивленческое правительство князя Львова выслало почетный караул навстречу Ленину после его эффектного переезда Женева — Берлин — Петроград...

Крушение Временного правительства обозначило собою кризис не только исторический и политический, но и внутренний, идеологический. Соприкоснувшись с государством и остро почувствовав свою ответственность за него, широкие круги интеллигенции принялись за пересмотр своего поколениями накопленного политического багажа. Но было уже поздно, и логика жизни, отбросив колеблющихся, вызвала «последовательных до конца». В этом сказалась не только естественная закономерность событий и процесса идей, — тут проявился глубокий и разумный смысл совершающегося. Кризис интеллигентского мирозерцания должен был быть углублен, «пересмотра» одной только *политической* идеологии было недостаточно. Началось с политики, — перебралось во «внутрь», в царство духа. Сама политика от «мелких дел» перешла к широким масштабам, дерзновенным претензиям, подлинно «новым словам». Разверзлись духовные глубины, обнажились «последние» вопросы, полные всемирно-исторического значения и смысла. Грянула *великая революция*.

«Великой» она стала лишь к ноябрю 17 года. «В марте мы слышали только революционный лепет медового месяца и видели только робкие шаги родившегося общественно-политического

обновления; — буря пришла потом, и только на мрачном и зловещем большевистском небе засверкали ослепительные зарницы» (Б. В. Яковенко, «Философия большевизма»)<sup>5</sup>.

Углубление революции совершалось с чрезвычайной быстротою. Мы видели, как облекались плотью и кровью давние фантазии русской интеллигенции, как жизнь от рылеевской «Полярной Звезды» и герценовского «Колокола» перебрасывалась к добролюбовскому «Свистку», а от него — к ткачевскому «Набату»<sup>6</sup>. Мы пережили на пространстве нескольких месяцев какое-то магическое «оживотворение» истории русской политической мысли — от идей декабристов, от либерализма западников и славянофильского романтизма до нигилистических отрицаний шестидесятников, до утопий Чернышевского, до французских и немецких формул Бакунина, слушали Рудиных, созерцали Волоховых, — болтали Степаны Трофимовичи, а вот пришло и младшее поколение, тут и Шигалевы, и Верховенские: «мы сделаем такую смуту, что все поедет с основ...» А рядом тут же, — андреевские «Семь повешенных» с исповедью человеколюбцев-убийц<sup>7</sup>: —

Мою любовь, широкою, как море,  
Вместить не могут жизни берега...<sup>8</sup>

Все это странно воскресло в подновленном, модернизованном наряде. И разразилось великим дерзновением неслыханным, вдохновенным размахом... Страшный суд пришел — суд над духом и плотью русской интеллигенции.

И вот она увидела воплощенными мечты свои в их крайних выводах, в их предельно последовательном и четком выражении. Она реально ощутила неизбежный конец своего пути в изображении ярком и красочном, как был сам этот путь. Она познала плоды дум и дел своих.

Волевые, бесстрашно верные себе ее элементы грозю и бурей воплощали прошлое ее в настоящее. «Монахи воинствующей церкви — революции», они не испугались никаких инквизиций для реализации «золотого сна». Но масса, но «армия» интеллигентская содрогнулась. Эти реальные образы жизни показались ей призраками страшными и безумными, и с ужасом отшатнулась она от них. Почувствовала, жизненно постигла всю ту бездну духовной опустошенности, в которой прежде видела высший закон мудрости. И когда погасли в ее сознании традиционные «светочи», ее ослеплявшие, — в наступившей тьме засияли светила подлинных и глубоких ценностей, ей прежде чуждых и далеких. На этот раз уже широкие массы ее и рядовые представители по-

знали необходимость того коренного «пересмотра идеологии», который за 10 лет был предрезан ее авангардом: — заговорила тоска по государству, тоска по отечеству, тоска по внутреннему, духовному содержанию жизни.

Но ее воплощенное прошлое не простило ее отступничества. Вызванное к жизни и к власти, в своеобразном единении с пробужденной народной стихией, оно потребовало ее к ответу. Произошла трагическая борьба, в которой восставшая против самой себя, против своей истории армия русской интеллигенции была разбита наголову. И вот снова она — словно в стане страждущих и гонимых, и опять ее жизнь — или мартиролог, или регистр каторги.

Но все же эти новые муки — объективно осмысленнее, хотя, быть может, внешне, материально они и более ужасны, а по обстановке своей более трагичны, чем прежние. Но эта трагичность — возвышающая, плодотворная. Уже нет в них той убийственной драмы, той безысходной внутренней порочности, пустоты, которая была в тех, в прошлых. Эти страдания — очищающие, эти жертвы — искупительные. Ими все мы, круговую порукою связанные русские интеллигенты, искупаем свою великую вину перед родиной. Ими мы воскреснем к новой жизни.

Поймем ли мы только это *до конца*? Удержимся ли от рецидива своих прежних настроений? Было бы верхом бессмыслицы и ужаса, если б в результате новой борьбы русская интеллигенция заболела своим старым радикализмом — дурною «революционностью наизнанку»! Если бы борьба в ее сознании, как прежде, превратилась в самоцель!..

